

УДК 82-3

DOI: 10.17223/19986645/64/15

А.И. Разувалова

**ЛЮДИ И СОБАКИ, ФАНТАСТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ:
«ОТТЕПЕЛЬНАЯ» РЕАБИЛИТАЦИЯ ЭМОЦИЙ В ПОВЕСТИ
НИКИТЫ РАЗГОВОРОВА «ЧЕТЫРЕ ЧЕТЫРКИ»**

На материале научно-фантастической повести Н. Разговорова «Четыре четверки» (1963) обсуждается проблема формирования в культуре «оттепели» новой не-мобилизационной этики и новых, основанных на эмпатии, норм социального взаимодействия. Анализируются сюжетообразующая для повести и отсылающая к реалиям советской космической программы с участием животных ситуация полета собаки на Марс и ее культурно-идеологические смыслы.

Ключевые слова: Н. Разговоров, научная фантастика, собаки-космонавты, эмоции, отношения человека и животного, «оттепель».

Советская космическая программа с участием животных¹ в последние годы не раз становилась предметом исследовательского внимания. В сборнике «Переосмысливая *Спутник*», работах К. Берджеса и К. Даббса, Э. Нельсон, А. Сиддики, О. Туркиной и др. [1–5] рассматривались основные этапы ее осуществления, политические, технические, медико-биологические и культурные аспекты. Исследователей культурной истории космоса интересовало, как институты пропаганды в СССР и на Западе использовали образы собак в условиях «космической гонки» 1950–1960-х гг., какое влияние этот проект оказал на коллективное культурное воображение, как он трансформировал (если о такой трансформации вообще можно вести речь) сложившиеся к тому времени дискурсы и практики, регулировавшие взаимоотношения человека и животного.

Несмотря на то, что собаки-космонавты были, по определению О. Туркиной, первыми советскими «космическими поп-звездами» международного масштаба [5. Р. 143], литературные репрезентации событий, связанных с их полетами, сложно назвать разнообразными: в конце 1950-х – первой половине 1960-х на «космические путешествия» животных откликнулись в основном авторы научно-популярной и детской литературы², в то

¹ Экспериментальные полеты собак на геофизических ракетах начались в 1951 г. и некоторое время продолжались в обстановке секретности. Крупным медийным событием они стали только после запуска на орбиту *Спутника-2* с Лайкой на борту (1957) и путешествия в космос Белки и Стрелки (1960). Полетом, который подвел черту под «героическим» периодом в осуществлении программы (она продолжалась, но от использования собак ученые практически отказались), стал рекордный по длительности (22 дня) полет Уголька и Ветерка на биоспутнике «Космос-110» в 1966 г.

² В 1960-е гг. собакам-космонавтам были посвящены рассчитанные на «детей дошкольного и младшего школьного возраста» стихотворные книги В. Подкопаева «Бел-

время как литература «взрослая», «серьезная» не проявила большой заинтересованности в разработке этой сюжетике. В центре статьи – повесть Никиты Разговорова «Четыре четверки» (1963), сюжетобразующим мотивом которой стал полет собаки в космос¹. Оставшаяся вне поля зрения исследователей по причинам, о которых речь пойдет ниже, эта повесть будет интересовать меня, во-первых, как довольно редкая попытка, осмыслить, используя возможности научной фантастики, эмоционально-этический² аспект историй «космических собак», во-вторых, как свидетельство ревизии в культуре «оттепели» прежней (позднесталинской) конструкции «человечности» посредством пересмотра символической границы между «человеческим» и «животным».

В данном случае собаки оказываются в исследовательском фокусе в связи с дискурсом эмоций и понятием «эмоциональной культуры», ведь «оттепель» опознает себя – по контрасту с предшествующим периодом – как время эмоциональной и поведенческой диверсификации, поиска нового языка выражения эмоций (достаточно вспомнить о дискуссии физиков и лириков, ставшей одним из главных культурных маркеров «оттепели», вспыхивавшей в разных контекстах полемике об «искренности» или подытожившем «оттепель» и ставшем мостом в культуру 1970-х гг. сборнике под ред. В. Толстых «Культура чувств», 1968). М. Майофис справедливо пишет об одной из главных задач «оттепельной» культуры – «“перенастр[оить]” эмоциональную жизнь советских граждан для нового типа эмоциональной мобилизации, основанной уже не на поиске и изобличении “врага”, а на энтузиастическом построении совместного будущего» [8. С. 78]. О такой «перенастройке», на мой взгляд, может свидетельствовать и характер литературных и визуальных репрезентаций животного в культуре

ка и Стрелка (сказка-быль)» (1961), В. Бороздина «Белянка и Пестрая в ракете» (1961), М. Познанской «Про Белку и Стрелку и их путешествие» (пер. с укр., 1965), рассказ Ю. Гальперина «Приключения Белки и Стрелки» (1961), диафильм со стихами Ю. Яковлева и рисунками В. Лихачева «Белка и Стрелка» (1961); читателям подросткового возраста была адресована повесть М. Барановой и Е. Велтистова о полетах собаки Отважной «Тяпа, Борька и ракета» (1962). О подходе детской литературы 1960-х гг. к изображению собак-космонавтов см.: [5. Р. 13–14].

¹ Благодарю Илью Кукулина, обратившего мое внимание на эту повесть.

² Поскольку число работ, выполненных в русле *emotional turn* и тщательно объясняющих его теоретические основания, в последние несколько лет заметно выросло, я ограничусь ссылкой на обстоятельную монографию Я. Плампера и те ее разделы, где излагаются наиболее продуктивные концепции (см. [6. С. 407–439]). Если же говорить об обширной исследовательской традиции, в рамках которой изучаются представления о животных в их историко-культурной обусловленности, а также соответствующие риторика и сюжетика, то в качестве ориентира упомяну классическую работу Х. Ритво [7]. Исследовательница рассматривает животных как метафоры психологических и социально-политических нужд людей, описывает паттерны, регулировавшие в викторианской Англии отношение общества к животным, обсуждает корреляцию между культурными практиками, визуальными и литературными репрезентациями животных, с одной стороны, и ведущими дискурсами эпохи (имперским, дискурсом социального контроля и т. п.) – с другой.

второй половины 1950-х – первой половины 1960-х гг. Разумеется, в качестве домашнего питомца собака всегда в той или иной степени была связана с дискурсом «чувств» (точнее, их «воспитания», т.е. развития милосердия, сострадания и т. п., требуемого нормами гуманистического отношения к «братьям нашим меньшим»), а также с одобрением или, напротив, порицанием соответствующих социальных стандартов поведения, чувствования, взаимодействия. В этой перспективе и будет рассмотрена повесть «Четыре четверки», автор которой тематизировал связь между эмоциональным состоянием индивида / группы, отношением к животному и менявшимися в период «оттепели» принципами социального взаимодействия.

Однако прежде чем перейти к рассмотрению повести Разговорова, следует хотя бы конспективно охарактеризовать динамику представлений о собаках-космонавтах в советской прессе и научно-популярной литературе рубежа 1950–1960-х гг. и выяснить, каким образом нарративы о космических путешествиях животных связаны, имплицитно или эксплицитно, с переосмыслением базовых для советской идеологии положений и соответствующих эмоциональных стандартов.

Официальный дискурс о собаках-космонавтах: героизм и сотрудничество, энтузиазм и сопереживание

Анализируя советский дискурс о «космических собаках», исследователи нередко подчеркивают его героико-мобилизационный пафос, модифицированный на рубеже 1950–1960-х гг. типично «оттепельными» уверениями в ценности «живого» [3. Р. 145–150]. В публикациях прессы, в научно-популярной и детской литературе собаки представляли героями, преодолевающими трудности и, если необходимо, жертвующими собой во имя науки и прогресса¹. Эти представления о высокой эффективности собак при решении общественно значимых задач базировались на некоторых дискурсах, тропах и практиках предшествующего периода [Ibid. Р. 149], в частности на «этосе полезности» [9. Р. 128, 130], обусловливавшем отношение к животным в 1930–1940-е гг.², и на популяризованных в советской культуре идеях Ивана Павлова о собаке – «помощнице и друге человека», которую отличают «догадливость, терпение и послушание»³, а также едва ли не естественное стремление к самопожертвованию [11. Р. 68].

Вместе с тем у образа собак-героев были и относительно новые, специфичные для культурного лица «оттепельной» эпохи утопически-

¹ Впрочем, утверждает Э. Нельсон, после полета Ю. Гагарина дискурс «собак – разведчиков космоса» постепенно стал сменяться взглядом на них как на «экспериментальных животных» [3. Р. 155].

² См., например, интерпретацию фильма Е. Шнайдера «Высокая награда» (1939), где коллизии, связанные с выбором методов дрессировки пограничной собаки, имеют непосредственное отношение к «шпионской» интриге (см. [10. Р. 72–76]).

³ Цитируются сочиненные Павловым надписи для памятника собаке, расположенного в саду Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.

технологические коннотации, основанные опять-таки на прежних представлениях о функциях собаки – самого древнего и самого верного товарища человека в историко-эволюционном процессе, продолжающего вместе с ним осваивать мир, прокладывая для людей на этот раз «звездные трассы». В этом отношении истории «четвероногих космонавтов» [12. С. 4] были благодатным материалом для «очеловечивания» послевоенной героико-мобилизационной идеологии и утверждения ее «гуманистического» измерения. Олицетворявшая «живое» в техносфере космического проекта собака представляла инструментом достижения смелых научных целей¹. Но дело в том, что достичь их она стремилась *ради человека* (здесь и далее курсив мой. – А.Р.), вновь провозглашенного ценностью в «оттепельной» культуре². Такого рода гуманизм не обесценивал переживаний близости с животным (отсюда призывы помнить подвиги собак-космонавтов Лайки, Отважной, Звездочки, скупые намеки на переживания научно-технического персонала, готовившего их к полетам, и публики, сочувственно ожидавшей возвращения), но все же рассматривал их как эмоции более низкого порядка в сравнении с ценностями прогресса, общего блага и, наконец, человеческой жизни. Можно сказать, подобное переживание близости становилось мягким мобилизационным механизмом, необходимым для «оттепельного» перезапуска советского проекта. Пассаж из ратовавшей за защиту животных статьи Л. Леонова и Б. Рябинина иллюстрирует всеильность приоритета «разумности» и «полезности» по отношению к «сантиментам»:

Мы не будем проливать слезы над Лайкой, которая сгорела в атмосфере во имя исследований будущего. Словом, мы говорим не о барской слезливости к «божьем творениям», а о разумном понимании значения каждого живого существа, о правильном отношении к нему, вплоть до товарищеского [15. С. 39].

¹ Наиболее радикальным выражением подобной «инструментализации» были медицинские операции, которым подвергались животные в период их подготовки к космическим полетам. После этого, замечает Э. Нельсон, собак естественно было бы рассматривать как своего рода «биотехнологии», «хирургически модифицированные» объекты [13. Р. 89].

² См. весьма симптоматичные для риторического репертуара «оттепели» рассуждения Ч. Айтматова о реабилитации индивида в современной литературе, развенчивающей культ личности [14. С. 337]. В качестве примера «невнимания к человеческой судьбе» [Там же], характерного для предыдущего периода, он упоминал расхожий мотив – самопожертвование во имя спасения «общественного имущества», например колхозной живности. Его недоумение вызывал рассказ узбекского писателя С. Ахмада «Гюльпаны на речной глади», героиня которого погибала, спасая ягнят: «Быть может, я ошибаюсь, но ягнята есть ягнята, даже если они колхозные, а человек есть человек, и если он погиб случайно или умышленно, надо об этом уметь говорить так, чтобы это не оскорбляло человеческого достоинства» [Там же. С. 341]. Впрочем, критикуемая писателем логика инструментализации и деиндивидуализации человека работала и в отношении животного, которое в соцреалистической прозе было одушевленным эквивалентом идеологически и экономически значимых ценностей.

В силу действия ряда риторико-идеологических конвенций, в публичном пространстве рубежа 1950–1960-х гг. обсуждалось идеологическое и научно-технологическое, но не этическое измерение космического проекта. «Противоречие между восприятием собак как товарищей, слуг и друзей и необходимостью приносить их в жертву науке», имевшее, по словам Э. Нельсон, «сложные последствия для взаимоотношений исследователей и собак» [13. С. 92], нередко игнорировалось, или же его разрешение адаптировалось к нормам антропоцентристской риторики, т.е. сводилось к акцентированию сложной комбинации чувств – твердому намерению решать поставленные задачи и сочувствия к тем, кого приносят в жертву на пути к заветной цели¹.

Советские ученые не сталкивались с ограничениями на использование экспериментальных животных, подобными тем, что существовали в западных странах [3. С. 150], так что на рубеже 1950–1960-х гг. экспликация вопроса о гуманности использования животных в научных опытах могла быть расценена как подрыв антропоцентристской иерархии ценностей и ненужный сдвиг внимания от «главного» (выдающихся научно-технических достижений советского народа) ко «второстепенному» (судьбам животных, послуживших материалом для необходимого эксперимента). В сходном ключе были выдержаны и нечастые публикации, где все же затрагивалась проблема обоснованности использования собак в научных экспериментах – космических или сугубо медицинских (например, в трансплантологических операциях В. Демихова). Подобные опыты опять-таки представляли эпизодом длительной истории героических попыток человека проникнуть в тайны мироздания, и авторы публикаций всякий раз делали беспрюграммный ход, патетично описывая предполагаемые позитивные эффекты головокружительных экспериментов, ценность которых в антропоцентристской перспек-

¹ В этом отношении интересна повесть М. Барановой и Е. Велтистова «Гяпа, Борька и ракета», решавшая одну из главных задач детской литературы – предлагать подлежащие интернализации эмоциональные сценарии переживания тех или иных событий. Повесть не обходила стороной болезненные ситуации, связанные с утратой: авторы отвели главу под рассказ о «невозвращении» Лайки, а тоска одного из персонажей по пропавшей собаке и ощущение вины перед ней были показаны как совершенно оправданные чувства. В то же время сопереживание живому существу, трансформируемое в еще более настойчивые усилия по достижению поставленной цели, изображалось в повести как один из источников энтузиазма героев. По сути, Баранова и Велтистов стремились согласовать мобилизационные установки с привязанностями, не подчиняющимися утилитарным требованиям. Собака же выступала здесь в обычной для нее культурной роли «связующего объекта» (*boundary object*) [3. Р. 154], который соединял приватное и публичное, мир сентиментальной привязанности к домашнему питомцу и мир больших научно-технических свершений (см., например, эпизод повести, в котором дети отдают своих собак в Институт космической медицины для проведения экспериментов; таким образом, собака приносится в жертву и в дар, но одновременно становится проводником в пространство социально более престижное и перспективное, в котором аккумулированы возможности потенциальной самореализации и куда стремятся попасть ребята).

тиве представляла бесспорной [16. С. 13–15; 17. С. 6]. Вместе с тем само появление таких статей в печати можно считать ответом на не сформулированные в публичном поле вопросы об этической стороне экспериментального использования животных и коллективном эмоциональном проживании болезненных эпизодов смерти собак (прежде всего Лайки).

Кроме того, освещение в советской прессе космических полетов собак на рубеже 1950–1960-х гг. обнаружило несколько новых тенденций в публичной сфере: во-первых, заинтересованность власти в поддержании имиджа СССР как государства не только передового в научно-техническом отношении, но гуманного, во-вторых, возросшую чуткость к запросу общества на нормализацию проявлений сострадания и эмпатии. Отсюда официальные публичные акции, наподобие обязательного появления собак на пресс-конференциях после благополучного завершения полетов, сообщения о рождении ими здорового потомства, изображение собак-космонавтов на почтовых марках и спичечных коробках, размещение мемориальной таблички на клетке Лайки в Институте авиационной медицины. Такие шаги приоткрывали своего рода эмоциональный клапан для выражения приязни и сочувствия и в то же время задавали определенный режим говорения и воспоминаний об этих событиях, особенно если последние имели трагический характер. (например, они упрощали «сложную память» [3. Р. 153], оставшуюся после полета Лайки). Это одна из причин, по которым в СССР, в отличие от Запада, для разговора об обреченной людьми на гибель Лайке не сформировался язык «сожаления, меланхолии, раскаяния, того, что Э. Нельсон называет “ассоциациями с жертвой, утратой, эксплуатацией и экспериментаторством”, подпитывавшими посмертную известность этой собаки» [18. Р. 39].

Повесть Разувалова, о которой пойдет речь в следующем разделе, представляется мне попыткой утвердить новый, выходящий за рамки героико-мобилизационной этики и основанный на идее эмпатии способ взаимодействия человека и животного. Попытка эта, очевидно, была ограничена объемом тех дискурсивных, риторических и символических средств, которыми располагала «оттепель», потому повесть не оспаривала прямую базовую для советской идеологии убеждения в необходимости жертв для решения исторических сверхзадач, не обостряла болезненные этические коллизии космического проекта с участием животных. Тем не менее предложенная в ней трактовка взаимоотношений человека и собаки ставила под сомнение сформировавшуюся в предыдущий исторический период этику героических свершений, неявно инструментализовавшую Другого как средство модернизационного рывка.

Животное как Другой: реабилитация эмпатии

Повесть «Четыре четверки» была опубликована в 1963 г. в сборнике «Черный столб», где соседствовала с произведениями А. Кларка, А. Азимова, А. Днепровы, Е. Войскунского и И. Лукодянова и др. Несмотря на

столь лестное соседство, Н. Разговорова (1920–1982) сложно назвать писателем-фантастом – повесть «Четыре четверки» осталась, по сути, его единственным опытом в этой области. В большей степени он был известен как переводчик с французского, журналист «Литературной газеты» (некоторое время провел во Франции в качестве ее собкора) и ведущий рубрики «Ума палата» в журнале «Пионер».

Насколько я могу судить, исследователи не рассматривали «Четыре четверки» в ряду произведений, посвященных космическим путешествиям собак, хотя по формальным признакам повесть могла быть туда включена: ее завязка – вынужденное приземление на Марсе одной из ступеней космического корабля, на борту которого находится собака. Информации об обстоятельствах, вызвавших полет, в повести нет, но читатель, имеющий представление о схематике научно-фантастических сюжетов, вправе предположить, что автор имел в виду перспективы космических экспериментов с животными (на сей раз отправленными на Марс) или даже альтернативный (и фантастичный) финал истории Лайки, не погибшей, но прилетевшей на другую планету. Основная же причина, по которой исследователи сюжетов о собаках-космонавтах прошли мимо повести Разговорова, заключается, вероятно, в том, что писатель сам затруднил ее тематическую идентификацию: изъяв событие полета из привычных героико-мобилизационных дискурсивных схем (технологический прорыв, доказывающий первенство социалистической системы, открытие новых научных горизонтов, труд и самопожертвование во имя будущего и т.п.), он сделал его отправным пунктом в обсуждении, с одной стороны, ключевых для советской научной фантастики рубежа 1950–1960-х гг. вопросов о природе научного (по)знания, «социальной роли науки и рациональности» [19. С. 317] (на этот раз – применительно к отношениям человека и животного), а с другой стороны, не менее важного для «оттепельной» культуры вопроса об «эмоциональном мире личности».

Прежде чем говорить о том, какие социальные и культурные смыслы извлек Разговоров из сюжета о космических собаках, как эти смыслы переопределяли взаимодействие человека и животного в рамках научных экспериментов и повседневного общения, напомним фабулу повести. Ее действие происходит на Марсе – планете, где после четырехсотлетней войны лириков и физиков, закончившейся победой последних, создана базирующаяся на науке и точном знании цивилизация. Главные фигуры марсианского мира – ученые (математики, физики, астрономы), занятые исследованием космоса. Поскольку марсиане считают себя единственными живыми существами во Вселенной, они ошеломлены встречей с пилотом межпланетного корабля, сбитого академиком Аром при помощи радиоманнитного луча. Читателю не составляет особого труда догадаться, что в роли «таинственного пришельца из космоса» [20. С. 184] выступает собака, но марсиане, не имеющие представления об этом биологическом виде, по ходу сюжета пытаются установить морфологические, физиологические, поведенческие характеристики загадочного существа, дабы классифициро-

вать его и вступить с ним в контакт. Обсуждение различных гипотез относительно Живого (так марсиане называют инопланетянина) и изъянов аналитической оптики, размышления о природе контакта и близости, спровоцированные общением с Живым, и, наконец, итоговая идентификация объекта составляют содержание повести. В эпилоге, действие которого разворачивается уже после смерти Живого, марсиане узнают от прибывшего с Земли космонавта о роли, которую некогда сыграл Живой в создании межпланетного корабля (это едва ли не единственная деталь, прямо отсылающая к факту осуществления советской космической программы и роли собак в ней). В свою очередь, марсиане показывают памятник, который они установили в честь «веселого и доброго» Живого – «гонца Венеры или сына Земли» [20. С. 220]. Завершается повесть изображением символического жеста – космонавт-землянин кладет цветок на гранитный постамент памятника собаке.

Даже беглого пересказа достаточно, чтобы понять: ни описание полезных для народного хозяйства научных разработок в духе «фантастики ближнего прицела», ни амбициозные попытки реанимировать коммунистическую утопию в духе Ивана Ефремова автора «Четырех четверок» не занимали. Способ интерпретации Разговоровым научно-фантастических мотивов (через очевидные отсылки к актуальной для «оттепели» культурной повестке), пародийная заостренность одних маркеров и конвенций научной фантастики (экзотично-иностранных имен персонажей-ученых, упоминаний о поражающих воображение технологиях и т.д.) при игнорировании других (касающихся, к примеру, внешности марсиан) заставляют думать, что ироническая игра с клише изображения «жизни на Марсе» призвана была усилить ощущение условности, если не сказать фиктивности инопланетного мира. Не случайно А. Стругацкий, горячо рекомендовавший повесть к печати, посчитал «Четыре четверки» «фантастическим памфлетом» [21. С. 12]. На это же обстоятельство обратил внимание участник медико-биологической космической программы, академик В. Парин, назвавший в послесловии «Четыре четверки» «юмористической повестью», автору которой «Марс понадобился <...> всего лишь как традиционная сценическая площадка, на которой испокон веков происходят разные фантастические события» [22. С. 220–221]. И хотя специфику нарратива «Четырех четверок» вряд ли можно объяснить только юмористическим модусом повествования, в главном замечание Парина верно: Разговоров литературную природу научной фантастики связывал не только с перспективой формулировки смелых научных гипотез или снабжения читателя новой информацией, но и с возможностью острого, неожиданного, иногда острающего, иногда пародийного видения рутинных, «стертых» повседневным восприятием объектов и ситуаций. Уже после публикации «Четырех четверок», в рецензии на русский перевод книги А. Азимова «Я, робот» (1964) Разговоров заявлял, что рассказы американского фантаста более всего увлекают умением показать «мир человеческих отношений» «под тем своеобразным острым углом, который свойствен подлинной

научной фантастике», а вовсе не суммой новейших сведений о кибернетике, как утверждал в своем предисловии к сборнику Азимова И. Ефремов [23. С. 354]. Если выведенная по отношению к Азимову формула определяла и собственные принципы Разговорова в работе с научно-фантастическим «материалом», то его повесть можно прочесть как снабженную основными футуристическими знаками версию встречи марсианской и земной цивилизаций и вместе с тем довольно скромную по амбициям «смоделировать будущее» попытку осмыслить, используя арсенал поэтики «научно-фантастического», происходящее «здесь и сейчас», в советском обществе рубежа 1950–1960-х гг.

Наиболее наглядный эффект применения этой двойственной стратегии – предельная «нормализация» автором повести физических, социальных и культурных параметров места действия. Разговоров оставляет в стороне уже сложившуюся к началу 1960-х гг. мифологию Марса, интенсивное развитие которой было спровоцировано гипотезой о возможной обитаемости планеты [24. С. 19]: в повести ничего не сообщается ни о социальном строе, царящем на Марсе (атрибут фантастики 1950-х и сочинений, наподобие романов Ефремова), ни о повседневной организации инопланетной жизни. Колониально-экспансионистская риторика завоевания нового пространства в «Четырех четверках» также отсутствует. Марсиане, судя по всему, физически, ментально и эмоционально подобны землянам, за исключением того, что они культивируют рациональный, строго научный стиль мышления. Упоминание же о войне физиков и лириков как о легендарном историческом событии, предопределившем характер развития марсианской цивилизации, становится красноречивой подсказкой читателям, которые, повинувшись рецептивной инерции, продолжают искать признаки «инаковости» инопланетного пространства: социальная реальность Марса есть остраненная в научно-фантастическом ключе советская социальная реальность, только в ней языки выражения близости, доверия и эмпатии «зарегулированы» или отсутствуют. Изображая мир Марса, где проявления «эмоционального» воспринимаются то ли как ненужное излишество, то ли как подозрительная вольность, Разговоров отсылал читателя, с одной стороны, к спорам, сопровождавшим возникновение в послевоенном СССР субкультур и новых способов публичной самопрезентации (например, «стиляжничества»), а с другой – к дискуссии 1959 г. о физиках и лириках (в повести есть несколько иронических отсылок к ней).

«Жизнь на Марсе» в «Четырех четверках» явно выписана с учетом аргументов представителей гуманитарного сообщества, связывавших негативный сценарий цивилизационного развития с возможным упрощением эмоционального мира человека. Разговорову, судя по всему, пессимистичные варианты такого сценария были чужды, поэтому его повесть содержит, скорее, юмористически-шаржированное видение мира, где лирическое мироощущение и эксцентричное публичное поведение оказываются «репрессированы». Большинство героев «Четырех четверок» следуют принципам научной рациональности (иногда в гипертрофированной фор-

ме – на чем, собственно, и основаны комические эффекты повести), однако эти персонажи вовсе не бесчувственны. Их эмоциональный аппарат действительно ограничен, но еще более ограничен словарь выражения эмоций, некогда подвергшийся «чистке» со стороны физиков. Вдобавок – и тут Разговоров опять излагает претензии гуманитариев к их оппонентам – герои страдают от своего рода профессиональной деформации: установки и процедуры, дисциплинирующие мышление и обеспечивающие объективность научного взгляда, блокируют эмоциональное восприятие объекта изучения и препятствуют «целостному» его видению.

Сюжетообразующим в повести является высокочастотный для научно-фантастической литературы мотив первого межпланетного контакта и коммуникации с Другим, представляющим, как правило, иной биологический вид или иную форму жизни. М. Шварц отмечает, что инопланетяне, встреча с которыми может происходить как в далеких мирах, так и на земле, появляются в советской фантастике после 1957 г., и само возникновение этой темы недвусмысленно свидетельствует об эрозии антропоцентризма, лежавшего в основе официальной обществоведческой доктрины [25. S. 145, 147]. От высказанного в ефремовском «Сердце змеи» (1958) и разделяемого многими авторами (А. Казанцевым, Г. Мартыновым и др.) убеждения в том, человек – идеальный эволюционный образец, а значит, физиологическое и психоэмоциональное строение существ, населяющих другие планеты, будет в той или иной степени подобно человеческому, советская научная фантастика дрейфует к идее многообразия форм жизни [Ibid. S. 141–145]. Разговоров тоже включается в диалог с представлениями об обязательном человекоподобии инопланетян, но иронически переворачивает классическую версию встречи, согласно которой исследующей Чужого / Другого инстанцией являются земляне: как правило, именно они сталкиваются с пришельцами, анализируют их биологическую (а если необходимо, то и идеологическую) природу, оценивают возможность мирных контактов. В «Четырех четверках», напротив, контакт с пришельцем из космоса увиден глазами марсиан, вынужденных классифицировать неизвестное им, но хорошо знакомое читателю существо. Взгляд марсиан на собаку остраивает этот древнейший domesticiрованный человеком вид, подробно изученный исследователями и включенный во множество культурных и хозяйственных практик. Для марсиан собака – не только биологически, но цивилизационно Другой, чье появление взламывает привычные модели восприятия и требует нового языка общения. Так, центральным в повести становится вопрос о способах коммуникации с Другим, в данном случае с «животным Другим» (*animal Other*), и придание этому контакту статуса межвидового не столько его специфицирует, сколько универсализует.

На мой взгляд, внимание к Другому в «Четырех четверках» прямо вытекает из всей общественно-политической ситуации «оттепели», когда в результате хрущевской либерализации прежняя модель советской идентичности обнаружила свою ригидность и «несовременность» и выявилась ост-

рая нужда в новых эмоционально-риторических сценариях и новых механизмах социального взаимодействия. Неудивительно, что проблемы коммуникации и контакта (как в специфичном для научной фантастики смысле, так и в более широком) целенаправленно выводятся Разговорным на первый план с самого начала повествования: доктор Бер вспоминает о подарковедении – с трудом освоенной им в школе дисциплине, дающей представлении о Другом и обучающей азам коммуникации; академик Ар, обращаясь к пришельцу, признает, что «даже живые существа, во всем подобные друг другу, не сразу могут обрести язык мира и согласия» [20. С. 179]; старший научный сотрудник Кин сочиняет рассказ о трудном согласовании представителями разных планет вариантов номинации объектов Солнечной системы. В таких обстоятельствах посланец неизвестной планеты становится для марсиан убедительным воплощением инаковости: он – существо иной природы и неизвестного происхождения, с которым нужно установить контакт.

Разговоров оставляет в стороне растиражированные в научно-фантастической литературе пути решения проблемы контакта, когда астронавты-земляне, столкнувшись с представителями других цивилизаций, либо организовывали процесс взаимного обучения и, проявив незаурядные лингвистические способности, спустя некоторое время начинали разговаривать на языке своих инопланетных собеседников, либо использовали новейшие технические приспособления, позволявшие без усилия понимать чужой язык. Автор «Четырех четверок», напротив, обостряет ситуацию отсутствия вербального контакта, которую его герои пытаются разрешить любыми путями. Ар сначала придерживается «гипотезы катастрофы» [Там же. С. 201], согласно которой пилот инопланетного корабля заговорит, как только пройдет шок от вынужденной посадки на Марсе, а затем высказывает предположение, что Живой обладает «неведомыми нам способами речи» [Там же. С. 201]; Бер выдвигает «парфюмерическую гипотезу», согласно которой объект не заговорит никогда, поскольку общается с миром посредством органов обоняния; Кин, поначалу пытавшийся гиперсемиотизировать жесты Живого, приносящего на прогулке палку, постепенно приходит к мысли о необходимости новых способов понимания и интерпретации поведения наблюдаемого существа. Наконец, в откровенно пародийном регистре описана исследовательская деятельность профессора Ира, пытающегося отгадать загадку о «четырех четверках» и установить значение слова «бусука», обнаруженного им в уцелевших древних лирических текстах (разыскания Ира, вероятно, можно трактовать как пародию на ранние структуралистские образцы анализа поэтических текстов с привлечением математических методов). Впрочем, ограниченность точных методов для понимания Другого в той или иной мере осознает большинство персонажей. Те же Бер и Ар смутно ощущают неправомерность восприятия Живого лишь как *объекта* изучения, чей статус отличен от человеческого. Встречаясь с Живым взглядом, Бер испытывает неловкость, подобную той, что возникает при пристальном рассмотрении человека и воспринимает-

ся как вторжение в чужое пространство. Взгляд Живого, спрашивающий, «хочу ли я, чтобы вы на меня смотрели?» [20. С. 186], есть то, в чем со всей определенностью воплощается его субъектность, однако для ее осмысления у Бера нет инструментов.

Несколько упрощая, можно сказать, что вербальная коммуникация во все не кажется автору «Четырех четверок» залогом успешного взаимопонимания¹, в отличие от языка бессознательных эмпатии и дружелюбия в отношении другого живого существа. Потому наиболее близкий автору персонаж, Кин, отвергает «парфюмерическую гипотезу», замыкающую Живого в его «обонятельной» природе и препятствующую контакту с существами, чей аппарат восприятия устроен иначе. Опыт общения Кина с Живым свидетельствует, что контакт, близость, эмпатия между ним и Живым уже есть, нужно только понять, «как это работает».

По Разговорову, переживание близости и эмпатии есть эффект, порожденный длительной историей сосуществования человека и собаки² (в повести не используется термин «доместикация», но, очевидно, автор имеет в виду историко-антропологический процесс взаимодействия этих двух видов и формирование собаки как существа, максимально нацеленного на контакт с человеком):

...в одном он (Кин. – *А.Р.*) уверен совершенно твердо: глаза Живого привыкли смотреть в глаза друга, где-то в их глубине запечатлен его образ и он воскресает, когда Живой видит перед собой Кина. И никакой шок не замутил этого взгляда. <...> ...К одушевленному Живой обращает свой взгляд.

...Кто подарил глаза Живому? И как упростилась бы вся эта загадка, над которой Кин, Бер и Ар ломают себе сейчас голову, если бы можно было с уверенностью сказать, что и сам Живой – это подарок, посланный с какой-то неведомой планеты на другую и случайно попавший на Марс [Там же. С. 212].

¹ Это обстоятельство отличает позицию Разговорова от более распространенного в научной фантастике подхода, согласно которому полноценный контакт между людьми и животными возможен, когда животное, в результате обучения или использования специальных приборов, овладевает человеческой речью (см., например, повести А. Полещука «Великое делание, или Удивительная история доктора Механикуса и его собаки Альмы» (1959) или А. Громовой «Мы одной крови – ты и я!» (1967)). Человек в этих случаях располагается на иерархически более высокой ступени (он – учитель или изобретатель, помогающий животному выйти из немоты), а животное конструируется как существо, жаждущее контакта с человеком на *его* условиях и *его* языке. Разговорову же важно было заявить о приоритете невербального / эмоционального контакта, который, судя по всему, казался ему менее зависимым от внешнего социального контроля и смягчал существующее в иерархических структурах напряжение между разными уровнями.

² Любопытно, что А. Стругацкий, видимо, по умолчанию посчитавший отношение к собаке индикатором эмоционального состояния общества, связал отсутствие собак на Марсе с эмоциональной «недоразвитостью» жителей этой планеты, хотя напрямую подобная причинно-следственная логика в повести Разговорова не заявлена [21. С. 13].

Разумеется, разделяемая Разговоровым идея ведущей роли человека в «создании» / воспитании собаки как друга и помощника не нова. Ее вариации легко обнаружить в советской культуре начиная с 1930-х гг. (от профессиональных пособий по собаководству до «шпионских» фильмов [9. Р. 132–133]), на ней же базировался официальный героико-мобилизационный дискурс о собаках-космонавтах. Предварявший «Четыре чепухи» эпиграф из «Размышлений о человеческой ценности науки» Фредерика Жолио-Кюри («Я люблю дерево, отполированное прикосновеньем рук, ступеньки лестниц, истертые шагами людей...») также акцентировал особую роль человека, вновь ставшего в «гуманистической» идеологии 1960-х существом исключительным: утверждая его достоинство, способность к творческому преображению мира и т.д., «оттепельная» культура опознавала себя как культура антисталинская. Так что Разговоров, превративший собаку в материализованное послание любви, отправленное землянами в космос, следовал одному из мощных риторически-дискурсивных трендов «оттепели», предполагавшему гуманизацию представлений о прогрессе, а значит, и о модернизационном движении как таковом. Другое дело, что писатель, приглушив мобилизационный пафос сюжета о собаках-космонавтах и сместив фокус на проблему контакта, изобразил Живого существом, которое не только создано дружественным отношением и эмпатией человека, но генерирует эмпатию, т.е. включается в процесс взаимного конституирования проявлениями доверия и любви.

В повести заслуги Живого марсиане определяют не в терминологии научно-технических достижений, а на языке эмоций – они помнят и чтят его, потому что само появление Живого узаконило проявления открытости и дружелюбия. Именно присутствие на Марсе «пришельца из космоса», существа из незнакомого мира – Другого, стало импульсом к рефлексии природы контакта, идеологически не мотивированному выражению солидарности, другими словами, к диверсификации возможных моделей поведения и самовыражения (это подтверждает курьезный эпизод диспута о «живживках», симпатизантах Живого в молодежной среде, пародирующий риторику дискуссий о «стилягах», моде, ценностях поколений «отцов и детей», праве на самовыражение). Квинтэссенцией лирико-идеологического посыла повести является эпитафия Живому: «Он был веселый, грустный и лохматый, / Гонец Венеры или сын Земли, / Он был во много раз сложнее, чем атом, / Всех тайн его постичь мы не смогли. / Он был сложнее и гораздо проще, / Доверчивый живой метеорит. / Мы в честь него назвали эту площадь. / Он был Живой. Здесь прах его зарыт» [20. С. 220]. Суммировавшая главные мотивы «оттепельной» лирики (непостижимость личности, ее неисчерпаемость, «сложность», скрывающаяся под «простотой») – от Е. Евтушенко до В. Солоухина – и расширившая их «гуманистическое» звучание с человека на любое живое существо, эта эпитафия становится выразительной иллюстрацией дискурсивных трансформаций, в истории отечественной литературы традиционно именовавшихся «оттепельной» реабилитацией личности», или, другими словами, процессов

формирования новой не-мобилизационной этики и свободных от жесткого идеологического регламентирования способов публичного самопроявления.

Заключение

Для культуры рубежа 1950–1960-х гг. собаки-космонавты стали идеальным «связующим объектом» (*boundary object*) [3. Р. 154], соединившим публичное и приватное, научную лабораторию, «большую политику» и массовую культуру, наконец, обжитое земное и неизведанное космическое пространства [Ibidem]. Впрочем, как мы видели, Разговорова интересовали не научно-технологические инструменты преодоления расстояний между разными мирами, а эмоционально-этические. И если научная фантастика, как правило, «эссенциализир[овала] культурные дистанции» [26], то идеалистически настроенный автор «Четырех чetyрок» явно стремился обнаружить фиктивность дистанций и границ, полагая возможным, как заметил по другому поводу Х. Аланиз, растворить «межвидовые барьеры... через эмпатию» [18. Р. 53].

О. Тимофеева, апеллируя к идее «антропологической машины» Дж. Агамбена, отмечает, что «граница между человеком и “животным” другим» устанавливается и постоянно переопределяется в «игре внутреннего и внешнего, включения и исключения» [27. С. 23], т.е. во взаимодействии двух типов дискурса, конструирующих «человеческое» и «животное»: исключения, исходящего «из идеи этического и онтологического превосходства человека, который радикально выделен из животного мира», и включения, опирающегося «на идею некоей общности всех видов, допускающей возможность коммуникации и взаимодействия» [Там же. С. 22]. Если спроецировать это наблюдение на период «оттепели», то на дискурсивном уровне, на уровне социальных и культурных практик нетрудно будет заметить наличие разнообразных «знаков» включения, сдвигающих границы между «человеческим» и «животным», иначе – в сравнении с предшествующей эпохой – очерчивающих зону общности между ними. В «оттепелной» культуре, к примеру, реабилитируется идея животного-компаньона, коммуникация с которым самоценна и не зависит от идеологических доводов или соображений пользы [10. Р. 78]. В крупных городах начиная со второй половины 1950-х гг. возникают секции защиты животных, необходимость в которых их активисты обосновывают, среди прочего, обострившимся во время и после войны восприятием страдания, даже если под этим подразумевается страдание животного. В этот период поднимается вопрос об ответственности государства перед животными, использованными для служебных и общественных нужд (хотя за этим легко различим вопрос о его ответственности перед гражданином). Так, в повести И. Меттера «Мухтар» (первоначальное название «Мурат», 1960) и снятом на ее основе фильме «Ко мне, Мухтар» (реж. С. Туманов, 1964) забота со стороны государственных структур о «заслуженном псе» интер-

претируется комиссаром как условие того, что о долге перед «заслуженным человеком» теперь тоже не забудут.

Экологические и зоозащитные инициативы этого времени некоторыми их сторонниками рассматриваются как одна из культурных форм нового, более либерального политического курса, допускающего, во-первых, расширение состава участников начатых в обществе преобразований; во-вторых, отказ от методов репрессивной социальной гигиены; в-третьих, легитимацию сильных, хотя и плохо рационализируемых сочувствия и привязанности, в том числе к «бесполезным», «опасным» или даже «вредным» существам. В итоге «включение» становится не просто символическим актом, но эмоцией и социальным действием, охватывающими человека и животное. Именно этой логике подчинены рассуждения писателя Б. Рябинина, который симптоматично реабилитирует «горячие» (т.е. выходящие из-под социального контроля) чувства, и собак – существ, не вписывающихся в недавние крайне жесткие гигиенические требования и тем самым опять-таки ускользающих из-под контроля:

Одно из порождений того (сталинского. – *А.Р.*) времени – казенщина, сухость, бюрократически-формальное мышление, презрение к проявлениям свежего, горячего чувства. Ведь иногда под видом борьбы за коммунистическую мораль насаждаются непродуманные идеи. В Ленинграде, в саду отдыха на Невском, слева от входа долгое время висел плакат «Что мы не возьмем в коммунизм», в нем упоминалась и... собака.

Глупость! <...>

Разумеется, возьмем. И собаку, и кошку, и других четвероногих и пернатых. Всех возьмем! [28. С. 56].

В сходной дискурсивной логике развивался сюжет повести Разговорова, описывавшей желаемый тип социальной коммуникации (в том числе с *animal Other*) как контакт эмоционально открытых, готовых к приятию Другого существ и утверждавшей свободную от жесткой привязки к советской идеологической догматике эмоционально-этическую основу взаимодействия с ним.

Литература

1. *Reconsidering Sputnik: Forty Years since the Soviet Satellite* / eds by R.D. Launius, J.M. Logsdon, R.W. Smith. New York ; London : Routledge, Taylor and Francis Group, 2014. 464 p.
2. *Burgess C., Dubbs C. Animals in Space: From Research Rockets to the Space Shuttle*. New York : Springer-Verlag, 2007. 406 p.
3. *Nelson A. Cold War Celebrity and the Courageous Canine Scout: the Life and Times of Soviet Space Dogs // Into the Cosmos: Space Exploration and Soviet Culture* / eds by J.T. Andrews, A.A. Siddiqi. University of Pittsburgh Press, 2011. P. 133–155.
4. *Siddiqi A. The Red Rocket's Glare: Spaceflight and the Soviet Imagination, 1857–1957*. Cambridge University Press, 2010. 418 p.
5. *Turkina O. Soviet Space Dogs*. FUEL Publishing, 2014. 240 p.
6. *Пламнер Я. История эмоций* / пер. с англ. К. Левинсона. М. : Новое литературное обозрение, 2018. 568 с.

7. *Ritvo H.* The Animal Estate: The English and Other Creatures in the Victorian Age. Harvard University Press, 1989. 360 p.

8. *Майофис М.* Советские мейстерзингеры: движение детских хоровых студий в СССР (1958–1980-е) // После Сталина: позднесоветская субъективность / под ред. А. Пинского. СПб., 2018. С. 75–107.

9. *Nelson A.* A Hearth for a Dog: The Paradoxes of Soviet Pet Keeping // *Borders of Socialism: Private Spheres of Soviet Russia* / ed. by L.H. Siegelbaum. Palgrave Macmillan, 2006. P. 123–144.

10. *Byford A., Mondry H.* Love, Service and Sacrifice: Narratives of Dogs and Children in the Soviet 1930s // *Australian Slavonic and East European Studies Journal*. № 29. P. 63–89.

11. *Mondry H.* Political Animals: Representing Dogs in Modern Russian Culture. *Studies in Slavic Literature and Poetics*. Vol. 59. Leiden : Brill, 2015. XVIII, 433 p.

12. *У четвероногих космонавтов* // Комсомольская правда. 1961. 9 апр. С. 4.

13. *Nelson A.* What the Dogs Did: Animal Agency in the Soviet Manned Space Flight Programme // *VJHS: Themes*. 2017. № 2. P. 79–99.

14. *Айтматов Ч.* Человек у человека учится добру // Гуманизм и современная литература. М., 1963. С. 336–342.

15. *Леонов Л., Рябинин Б.* Все о том же: о человеке, о душе и «козьявках» // Наука и жизнь. 1961. № 8. С. 38–39.

16. *Казарновская Г.* Два сердца // Юный натуралист. 1960. № 1. С. 13–15.

17. *Альперович Ю.* Памятник в Колтушах // Юный натуралист. 1966. № 12. С. 4–6.

18. *Alaniz J.* “The Most Famous Dog in History”: Mourning the Animot in *Abadzis’ Laika* // *Seeing Animals: Visuality, Derrida, and the Exposure of the Human* / eds by S. Bezan, J. Tink. Lanham, MD : Lexington Books, 2017. P. 39–64.

19. *Дашкова Т., Степанов Б.* Фантастическое в фильмах Андрея Тарковского *Солярис* и *Сталкер* // Фантастическое кино. Эпизод первый / под ред. Н. Самутиной. М., 2006. С. 311–344.

20. *Разговоров Н.* Четыре чetyрки // Черный столб. М. : Знание, 1963. С. 176–220.

21. Из архива. Рецензия на повесть Н. Разговорова «Четыре чetyрки» // *Неизвестные Стругацкие: Письма. Рабочие дневники. 1963–1966 гг.* / сост. С.П. Бондаренко, В.М. Курильский. Киев, 2009. 656 с.

22. *Парин В.* Я признателен академику Ару... // Черный столб. М., 1963. С. 220–221.

23. *Разговоров Н.* Блеск и нищета роботов // *Фантастика* 1965. М, 1965. Вып. 2. С. 347–357.

24. *Журавлева В.* Марс? Нет, прежде всего – Земля // Знание – сила. 1959. № 12. С. 19.

25. *Schwartz M.* Die Erfindung des Kosmos: zur Sowjetischen Science Fiction und popu-laerwissenschaftlichen Publizistik vom Sputnikflug bis zum Ende der Tauwetterzeit. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag Der Wissenschaften, 2003. 196 s.

26. *Липовецкий М.* Еще раз о комплексе прогрессора // *Неприкосновенный запас*. 2015. № 1 (99). URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2015/99/131.html> (дата обращения: 29.11.2018).

27. *Тимофеева О.* История животных. М. : Новое литературное обозрение, 2017. 208 с.

28. *Рябинин Б.* Человек должен быть добрым. М. : Знание, 1965. 64 с.

People and Dogs, Fantasy and Reality: The “Thaw” Rehabilitation of Emotions in the Short Story “Chetyre Chetyrki” by Nikita Razgovorov

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2020. 64. 259–276. DOI: 10.17223/19986645/64/15

Anna I. Razuvalova, Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: rai-2004@yandex.ru

Keywords: Nikita Razgovorov, science fiction, space dogs, emotions, human-animal relationship, Thaw.

In the present article, a narrative of space dogs is discussed in terms of shaping the new non-mobilization ethics during the Thaw period. The author focuses on Nikita Razgovorov's science fiction story "Chetyre Chetyrki" (1963) inspired by both vibrant public debates of the late 1950s and early 1960s and by the Soviet animal space flight programme (an arrival of a dog to Mars is a key event of this story). In "Chetyre Chetyrki", a dog, which was usually associated with the discourse of emotions/senses in different national traditions, turns out to be an indicator of the emotional state of Soviet society and its (in)sensibility to the Other. Unlike literary works on canine cosmonauts that often ignored painful moral problems of animal experimentation or adapted them to norms of anthropocentric rhetoric, "Chetyre Chetyrki" was an attempt to interpret emotional and, implicitly, ethical dimensions of the space dog flights. In a sense, Razgovorov's story tried to challenge the mobilization message of the Soviet project and reveal new—in relation to the Stalin era—principles of social communication. The author of the article treats "Chetyre Chetyrki" as a kind of quasi-science fiction: this implies that Razgovorov uses science-fiction clichés (first of all, an encounter with aliens and the first contact with them) in order to discuss topics relevant for the Khrushchev Thaw. Therefore, the story's plot is organized around issues important for the cultural identity of the Soviet people over the late 1950s and early 1960s. These are harmonization of the "rational" and the "emotional" for the successful movement towards communism (Razgovorov, for instance, refers to the physicists-lyricists debate (1959) and examines limitations of the strict scientific method), assimilation of new self-presentation strategies and appropriate emotional standards, and, finally, an intention to view another being as a subject with unique experience. However, Razgovorov is most interested in the emotional nature of contact, including interspecific contact. Any communication, according to the writer, is based on empathy, as well as on spontaneous, free from ideological constraints, solidarity with the Other. As a result, Razgovorov refuses to describe the space dog travel in terms of scientific and technological achievements and gives a new meaning to the four-legged cosmonaut's "heroic deed". From his point of view, the dog named the Living is primarily a message of love from Earth to Mars, so the dog's contribution to the development of the extraterrestrial civilization should be explained in the language of empathy and affinity. Having described the set of Razgovorov's story key motifs, the author of the article assumes that the Thaw, its cultural and social practices, particularly concerning human-animal relations, can be characterized through the "discourse of inclusion" that is established on an idea of affinity of humans and animals and criticizes the repressive social hygiene of the Stalin era.

References

1. Launius, R.D., Logsdon, J.M. & Smith, R.W. (eds) (2014) *Reconsidering Sputnik: Forty Years since the Soviet Satellite*. New York; London: Routledge, Taylor and Francis Group.
2. Burgess, C. & Dubbs, C. (2007) *Animals in Space: From Research Rockets to the Space Shuttle*. New York: Springer-Verlag.
3. Nelson, A. (2011) Cold War Celebrity and the Courageous Canine Scout: the Life and Times of Soviet Space Dogs. In: Andrews, J.T. & Siddiqi, A.A. (eds) *Into the Cosmos: Space Exploration and Soviet Culture*. University of Pittsburgh Press. pp. 133–155.
4. Siddiqi, A. (2010) *The Red Rocket's Glare: Spaceflight and the Soviet Imagination, 1857–1957*. Cambridge University Press.
5. Turkina, O. (2014) *Soviet Space Dogs*. FUEL Publishing.
6. Plamper, J. (2018) *Istoriya emotsiy* [The History of Emotions]. Translated from English by K. Levinson. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
7. Ritvo, H. (1989) *The Animal Estate: The English and Other Creatures in the Victorian Age*. Harvard University Press.
8. Mayofis, M. (2018) Sovetskie meysterzinyery: dvizhenie detskikh khorovykh studiy v SSSR (1958–1980-e) [Soviet Mastersingers: The Movement of Children's Choir Studios in the USSR (1958–1980s)]. In: Pinskiy, A. (ed.) *Posle Stalina: pozdnesovetskaya*

sub''ektivnost' [After Stalin: Late Soviet Subjectivity]. St. Petersburg: European University in St. Petersburg. pp. 75–107.

9. Nelson, A. (2006) A Hearth for a Dog: The Paradoxes of Soviet Pet Keeping. In: Siegelbaum, L.H. (ed.) *Borders of Socialism: Private Spheres of Soviet Russia*. Palgrave Macmillan. pp. 123–144.

10. Byford, A. & Mondry, H. Love, Service and Sacrifice: Narratives of Dogs and Children in the Soviet 1930s. *Australian Slavonic and East European Studies Journal*. 29. pp. 63–89.

11. Mondry, H. (2015) Political Animals: Representing Dogs in Modern Russian Culture. *Studies in Slavic Literature and Poetics*. 59. Leiden: Brill.

12. *Komsomol'skaya pravda*. (1961) U chetveronogikh kosmonavtov [At the Four-Legged Astronauts]. 9 April. p. 4.

13. Nelson, A. (2017) What the Dogs Did: Animal Agency in the Soviet Manned Space Flight Programme. *BJHS: Themes*. 2. pp. 79–99.

14. Aytmatov, Ch. (1963) Chelovek u cheloveka uchitsya dobro [Man Learns Good From Man]. In: *Gumanizm i sovremennaya literatura* [Humanism and Modern Literature]. Moscow: USSR AS. pp. 336–342.

15. Leonov, L. & Ryabinin, B. (1961) Vse o tom zhe: o cheloveke, o dushe i "kozyavkakh" [All About the Same: About Man, About the Soul and "Boogers"]. *Nauka i zhizn'*. 8. pp. 38–39.

16. Kazarnovskaya, G. (1960) Dva serdtsa [Two Hearts]. *Yumny naturalist*. 1. pp. 13–15.

17. Al'perovich, Yu. (1966) Pamyatnik v Koltushakh [Monument in Koltushi]. *Yumny naturalist*. 12. pp. 4–6.

18. Alaniz, J. (2017) "The Most Famous Dog in History": Mourning the Animot in Abadzis' Laika. In: Bezan, S. & Tink, J. (eds) *Seeing Animals: Visuality, Derrida, and the Exposure of the Human*. Lanham, MD: Lexington Books. pp. 39–64.

19. Dashkova, T. & Stepanov, B. (2006) Fantasticheskoe v fil'makh Andreyta Tarkovskogo Solyaris i Stalker [Science Fiction in Andrei Tarkovsky's Films Solaris and Stalker]. In: Samutina, N. (ed.) *Fantasticheskoe kino. Epizod pervyy* [Science Fiction Films. Episode One]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. pp. 311–344.

20. Razgovorov, N. (1963) Chetyre Chetyrki. In: Andreev, K. (ed.) *Chernyy stolb* [Black Pillar]. Moscow: Znanie. pp. 176–220.

21. Bondarenko, S.P. & Kuril'skiy, V.M. (2009) Iz arkhiva. Retsenziya na povest' N. Razgovorova "Chetyre chetyrki" [From the Archive. Review of the Novel by N. Razgovorov "Chetyre Chetyrki"]. In: *Neizvestnye Strugatskie. Pis'ma. Rabochie dnevniki. 1963–1966 gg.* [The Unknown Strugatsky Brothers. Letters. Work Diaries. 1963–1966]. Kiev: NKP.

22. Parin, V. (1963) Ya priznatelen akademiku Aru... [I Am Grateful to Academician Ar]. In: Andreev, K. (ed.) *Chernyy stolb* [Black Pillar]. Moscow: Znanie. pp. 220–221.

23. Razgovorov, N. (1965) Blesk i nishcheta robotov [Shine and Poverty of Robots]. In: Strugatskiy, A. (ed.) *Fantastika 1965* [Science Fiction 1965]. Vol. 2. Moscow: Molodaya gvardiya. pp. 347–357.

24. Zhuravleva, V. (1959) Mars? Net, prezhdе vsego – Zemlya [Mars? No, First of All, the Earth]. *Znanie – sila*. 12. p. 19.

25. Schwartz, M. (2003) *Die Erfindung des Kosmos: zur Sowjetischen Science Fiction und populaerwissenschaftlichen Publizistik vom Sputnikflug bis zum Ende der Tauwetterzeit*. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag Der Wissenschaften.

26. Lipovetskiy, M. (2015) Eshche raz o komplekse progressora [Once Again About the Progressor Complex]. *Neprikosnovenny zapas*. 1 (99). [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/nz/2015/99/131.html>. (Accessed: 29.11.2018).

27. Timofeeva, O. (2017) *Istoriya zhivotnykh* [History of Animals]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

28. Ryabinin, B. (1965) *Chelovek dolzhen byt' dobrym* [Man Must Be Kind]. Moscow: Znanie.